

не столь сложно. Притом Трубецкой и о евреях, и о русских эмигрантах говорит отвлечённо, не называя ни одного имени.

Но дело, оказывается, не только в евреях как таковых.

III.19. «Антисистема» и «противораса», или Демонология истории

*Везде, где есть цивилизация
и луч звезды планету греет,
есть обязательная нация
для роли тамошних евреев.*

И. Губерман

И Розенбергу, и Гумилёву нужен образ врага — метафизического (откуда иначе у него такая страшная сила?), но в то же время ВОПЛОЩЁННОГО и посюстороннего (ведь они — не религиозные авторы). И они — независимо друг от друга — выдвигают один и тот же постулат: существуют образования, лишь внешне напоминающие нормальный этнос (или расу). На самом деле они лишены внутреннего содержания, поэтому существовать могут только за чужой счёт. Они предназначены не для создания собственной этнической структуры, а только для разрушения чужой. Многое в этих описаниях заставляет вспомнить богословскую концепцию Сатаны, неспособного творить что-либо своё (хотя бы злое) и лишь извращающего Божье и человеческое творчество.

Для Розенберга евреи — не просто другая раса, хотя бы и низшая, а *«противораса»* (Gegenrasse). Такое словоупотребление для немецкого языка традиционно. Уже в первые века христианства по аналогии с Антихристом появилось понятие антипапы (Gegenpapst) — узурпатора папского престола. Затем уже от него было образовано понятие антикороля (Gegenkönig), выдвинутого мятежными герцогами в противовес законному германскому императору. Оно известно всем, кто знаком с историей Священной Римской империи. Отсюда было уже несложно вывести понятие и «противорасы», и даже масонской «противоцеркви» (Gegenkirche — Rosenberg 1934: 201).

Если раса у Розенберга характеризуется психологическим типом, выраженным в «высшей ценности», то у «противорасы» такой определённости нет. Казалось бы, это невозможно доказать: обратных примеров море. Но здесь на помощь ему приходит статья Оскара Шмитца из специального выпуска журнала *«Der Jude»* («Еврей») за 1926 г. Полемику Шмитца с ортодоксами иудаизма автор-нацист торопится объявить «еврейским самопризнанием» (ein jüdisches Selbstbekenntnis):

«И полуеврей (Шмитц) невольно обозначил самую суть этого противоборства немецкого гения с еврейским демоном. Он пишет: “Злой демон евреев — ... фарисейство. Может быть, это и носитель мессианских надежд, но в то же время — страж, чтобы никакой Мессия не появился... Это специфическая, максимально опасная форма еврейского всемирного отрицания... Фарисей активно отрицает мир, он заботится о том, чтобы по возможности ничто не приняло [определённого] облика, и при этом его гонит демонический аффект. Это мнимое отрицание является, собственно, особо сильным видом всемирного согласия, но с отрицательным знаком. Буддист был бы счастлив, если бы вокруг него заснул мир, фарисей был бы уничтожен, если бы вокруг него снова и снова жизнь не хотела прини-

мать вид, так как тогда его отрицательная жизненная функция не нашла бы больше никакого применения»» (Rosenberg 1934: 460—461).

Всё, что после этого Розенберг пишет о «еврейской сущности», взято из этой статьи в еврейском же журнале! Так же, заметим в скобках, как Л. Н. Гумилёв взял концепцию «народов-торгашей» у еврея В. Зомбарта (Клейн 1992: 239). Так кто же на ком паразитировал?

Кто в жарком споре будет первым,
вопросом стало знаменитым:
еврей еврейю портит нервы,
волнуня кровь антисемитам.

И. Губерман

«Если хотят производить исследования совсем на глубине этого признания и других подобных ему, иногда внезапно появляющихся рассуждений, то вывод оказывается всегда один: паразитизм. При этом данное понятие вовсе не следует понимать прежде всего как нравственную оценку, а как обозначение биологического факта, точно так же как мы говорим о проявлениях паразитизма в растительном и животном мире. Если саккулина (Sackkrebs) ввинчивается в задний проход европейского краба (Taschenkrebses)⁶⁹, постепенно в него врастает и дочиста высасывает его жизненные силы, то это тот же процесс, как и тогда, когда еврей через открытые народные раны проникает в общество, истощает его расовую и творческую силу — до полного падения. Это разрушение являлось как раз тем “активным всемирным отрицанием”, о котором говорит Шмитц, той “заботой”, чтобы “ничто не приняло облика” [“nichts Gestalt annehme”], так как под “фарисеем” мы имеем в виду паразита, у которого нет даже никакого собственного внутреннего роста, никакого органического духовного склада и поэтому также никакого расового облика [Rassengestalt]. <...> Шикеданц вводит при этом очень удачное понятие еврейской контррасы [Gegenrasse], в то время как именно паразитическая жизнедеятельность заключается в некоем отборе крови [Blutauslese], только в этом неизменном отсасывании — противоположность восстановительной работе, например, северной расы. И напротив, везде в мире, где образовывались паразитические зародыши, они чувствовали тягу к иудаизму, совсем как тогда, когда отбросы Египта вместе с евреями покидали страну фараонов» (Rosenberg 1934: 461—462).

Картина действительно жуткая: народ, ставший «жертвой паразита», похож на рака, в организм которого другой рак внедряется через... задний проход. «Зубы вонзил геморрой свирепый в воина Тулла...» (Лукан, Фарсалия, IX, 306)⁷⁰. Давно

⁶⁹ Taschenkrebs — краб европейский (*Cancer pagurus L.*), водящийся в морских водах, включая Северную Атлантику. Sackkrebs — судя по описанию, саккулина (*Sacculina carcini*). паразитический рак из отряда корнеголовых (*Rhizocephala*), паразит крабов, раков-отшельников и некоторых креветок. Название получил за мешковидный вырост с половыми железами, выпячивающийся сквозь панцирь заражённого краба. Вопреки утверждению А. Розенберга (который не был не только историком, но и биологом), саккулина проникает в организм хозяина не через задний проход, а сквозь брюшную стенку. К тому же этот паразит не вызывает гибель хозяина (живёт значительно меньше него), но приводит к резким изменениям его гормонального фона: заражённые молодые крабы-самцы превращаются в самок, взрослые крабы становятся бесплодными. См.: Жизнь животных В 7 т. Т. 2 / Ред. Р.К. Пастернак. М.: «Просвещение», 1988. С. 339—341.

⁷⁰ В указанном месте М. Анней Лукан рассказывает о том, как армия помпеянцев, отступавшая от Цезаря из Египта через Ливийскую пустыню, страдала там от ядовитых змей. «Геморрой» — в данном случае один из видов этих змей.

замечено, что шовинист среди прочих народов унижает и свой собственный — хотя бы тем, *как* он его защищает.

Можно подумать, что автор не слышал о плане Т. Герцля — создании еврейского национального государства? Ведь такая идея как раз исключает «паразитизм». Оказывается, слышал:

«Этот сионизм утверждает, что хочет основать “еврейское государство”; у некоторых вождей это даже может быть вполне честным стремлением несвободного строить жизненную пирамиду “еврейской нации” на собственном клочке земли, вертикальное сооружение, в противоположность горизонтальным слоям прежнего бытия. С древнееврейской [urjüdischer, вариант: ультра-еврейской] точки зрения, это — заражение национальным самосознанием и государственной точкой зрения народов Европы. Попытка образовывать действительно органическую общность еврейских крестьян, рабочих, ремесленников, техников, философов, воинов и государственных деятелей противоречит всем инстинктам противорасы и осуждена на неизбежную катастрофу, если бы евреи действительно её осуществили. Ортодоксы представляют действительно еврейскую суть, когда они резко откажутся от этой стороны сионизма как имитации западных взглядов на жизнь, отнимающей время у идеи “всемирной миссии”, а попытку сделать из “Израиля” такую же нацию, как любая другая, считают “упадком”. Это последовательное отношение привело многих сионистов к “благоразумию”, и собственное движение рассматривается ими всё-таки уже совсем иначе, чем в первоначальное время, когда у Теодора Герцля оно вызывалось протестом против всё же всюду заметного неприятия евреев со стороны европейцев» (Rosenberg 1934: 464).

Что касается ортодоксов, их позиции среди самих евреев неоднозначны. Как правило, это фанатики, целиком погружённые в религию. В самом Израиле они хотя и влиятельны, но лишь в силу особых обстоятельств, созданных не ими самими. Большинство граждан этой страны относятся к ним скорее как к ханжам (см., например, Носенко 2003: 303). Например, они присваивают себе право решать, можно ли хоронить в освящённой земле нееврея, павшего за Израиль, но сами свою страну не защищают вообще — в силу религиозных ограничений. Для некоторых течений иудаизма эта страна и вовсе не своя: ведь Пророки обещали царство Мессии и восстановление Храма, а не буржуазно-демократическую республику без Храма! Совсем недавно делегация ортодоксов из Израиля посетила Иран (в разгар информационной войны между обеими странами) и была сердечно принята самим Ахмадинежадом. Обе стороны — и иранский президент, и ортодоксальные раввины — сошлись на том, что Израиль как государство существует на ложных и незаконных основаниях. Но характерно, что израильская пресса предпочла вообще не комментировать эту встречу — иначе пришлось бы затронуть весьма неприятные вопросы⁷¹.

Однако не странно ли то, что Розенберг, считающий ложь «еврейской жизненной формой» (1934: 687), именно сионистов готов признать, «возможно, вполне честными», хотя их планы — несбыточными? Похвала из *таких* уст и в *таком* программном сочинении — это пощёчина, которую трудно смыть.

Действительно, сионизм зародился в Европе в самом конце XIX в. как реакция на европейский национализм и воспринял многое из его идеологии. Поводом

⁷¹ Информация любезно сообщена С. Е. Эрлихом, которому автор выражает искреннюю благодарность.

написать книгу «*Еврейское государство*» для Теодора Герцля послужили впечатления от разгула шовинизма во Франции в годы «дела Дрейфуса». Азиатские народы даже свои межэтнические конфликты мыслят в других категориях, на что в 1991 г. указывал сам Ясир Арафат — в интервью «*Новому времени*»:

«*НВ*: Сегодня в России ощущается рост антисемитских настроений. Не ощущаете ли вы какую-то вину за разжигание юдофобских настроений?

Я.А.: Мне кажется, что вы явно дезинформированы в этом вопросе. Евреи — наши двоюродные братья. Палестинцы, говоря о евреях, употребляют выражение: “ахаль аль-ам” (из семьи дяди). Это вы, в Европе, придумали антисемитизм. Мы сами семиты. Как же мы можем выступить против своих родственников?

Мы в мире и согласии жили в средневековой Испании. В арабском мире, где существовали большие еврейские общины, никогда, между прочим, не было погромов. И уверен, что, когда мы станем соседями по географической карте, у нас тоже не будет этнических проблем. Такую убежденность в нас вселяет хотя бы полученное недавно послание поддержки 28 депутатов кнессета, что, между прочим, составляет четверть израильского парламента» (Арафат 1991: 20).

Если из всех евреев только сионисты кажутся Розенбергу более или менее «своими» — не приходится удивляться появлению известной резолюции ООН (№ 3379 от 10 ноября 1975 г.), осудившей сионизм как «форму расизма и расовой дискриминации». К тому же не нужно забывать, что спектр еврейского национального движения до Второй мировой войны был значительно богаче, чем унылая бинарная оппозиция «сионисты — клерикалы». Это разнообразие на бессарабском материале недавно проанализировал покойный Я.М. Копанский (2008: 75—80, 227—240 и др.). Было, например, движение «идишистов» — за развитие еврейской культуры на языке идиш без эмиграции и без принципиального обособления от окружающего населения. Однако в Европе с этим движением покончил гитлеровский Холокост, а в СССР — последняя волна сталинских репрессий, от кампании против «безродных космополитов» до «дела “Джойнта”» и «дела врачей». В итоге умеренные направления еврейского движения были ликвидированы, остались только экстремисты. Что опять же оказалось выгодно антисемитам всех стран — с пропагандистской точки зрения.

Здесь же напомним: для Розенберга раса означает определенность миропонимания, расписанного в подробностях и потому очень негибкого. Между тем в индустриальном обществе (тем более в постиндустриальном) очень многое зависит от личности с её неповторимыми способностями, здесь каждый становится единственным в своём роде и незаменимым в полной мере. Точнее: можно заменить одного грузчика другим, если хозяина он интересует *только* как грузчик, но нельзя заменить Пушкина Лермонтовым, Эйнштейна — Планком или тем более Вавилова — Лысенко. Неуклюжим понятием «противорасы» автор пытается выразить страх перед грядущим миром, в котором люди слишком разны и своеобразны, чтобы их удалось построить в три шеренги. Само понятие «противорасы» — плод тоски по определённости и простоте архаического общества, подавлявшего любую личную нестандартность всюю мощью своих окостеневших традиций.

Об этом довольно.

Гумилёв же решает вопрос о враге (точнее, о Враге — с большой буквы) через теорию систем, в которую вводит новое понятие — «антисистемы» (Gegensystem — как было бы по-немецки):

«Для определения направления доминанты нужен исключительно чуткий прибор, и таковым является история мировоззрений и философских учений, о положительном значении коих мы уже говорили. Но наряду с ними встречаются жизнеотрицающие системы, которые мы вправе называть отрицательными. Казалось бы, такие самоубийственные идеи не могут оказать воздействие на здоровые коллективы, многочисленные популяции, крепко сложенные этносы. Однако, могут и оказывают. Это происходит в тех случаях, когда столкновение этносов с различной комплиментарностью насильственно связывает их в одну химерную целостность, которая всегда бывает неустойчивой. Вот в ареалах столкновений этносов, где поведенческие стереотипы неприемлемы для обеих сторон, повседневная жизнь теряет свою повседневную обязательную целеустремлённость, и люди начинают метаться в поисках смысла жизни, которого они никогда не находят. И вот тут-то возникают философские концепции, отрицающие благодать человеческой жизни и смерти, т. е. диалектического развития. Антипод материалистической диалектики это — антисистема, т. е. упрощающаяся система. Лимитом упрощения является вакуум» (Гумилёв 1990: 122—123).

Определяется антисистема так:

«Человек противопоставляет себя природе, в которой он видит сферу страданий. При этом он обязан включить в отвергаемую им биосферу и своё собственное тело, из которого необходимо освободить “душу”, т. е. сознание. Пути для этого предлагались разные, но принцип был всегда один — отрицание мира как источника зла» (Гумилёв 1992: 171).

Во многих случаях заметно невооружённым глазом, что мишень автора — советская идеология. Автор, пострадавший от неё по очень крупному счёту, нанёс ответный удар такой силы, какой только смог. Это видно по постоянным намёкам на отдельные детали — разрушение старого мира, переустройство и эксплуатация природы и т. п. Но верно ли это в общеисторическом смысле? В любом случае преодоление природы допускает различные формы. Даже космизм в этом смысле не исключение — сошлёмся хотя бы на планы реконструкции Вселенной у К. Э. Циолковского или на «теорию inferнальности» в «*Часе Быка*» И. А. Ефремова.

В качестве иллюстрации автор приводит два стихотворения: мироутверждающая позиция — «*Начало*» Н. Гумилёва, мироотрицающая — «*Лодейников*» Н. Заболоцкого (Гумилёв 1990: 123—124). Пример, видимо, показался ему настолько удачным, что те же строки подводят итог другой книге (Гумилёв 1992: 507—508).

Следующий отрывок можно было бы принять за перевод рассуждений Розенберга о «паразитизме»:

«Но антисистема не вещь. Она вытягивает пассионарность из вместившего её этноса, как вурдалак. Это для неё не составляет труда, потому что цель её — не созидание, т. е. усложнение системы, а упрощение, перевод живого вещества в косное, косного — путём лишения его формы — в аморфное, а это последнее легко поддаётся аннигиляции, являющейся целью поборников антисистемы.

Поэтому антисистемы существуют очень долго, меняя свои вместилища — обречённые этносы. Иногда они возникают заново там, где два-три этнических стереотипа накладываются друг на друга. А если им приходится при этом сменить символ веры и догмат исповедания — не беда. Принцип стремления к уничтожению остаётся, а это главное» (Гумилёв 1992: 171—172).

Сторонники всех антисистем отличались «неприятием действительности, т. е. метафизическим нигилизмом» (Гумилёв 1990: 137). «Сходство их было сильнее различий, несмотря на то, что основой его было отрицание. В отрицании была их сила, но также и слабость: отрицание помогало им побеждать, но не давало победить» (Гумилёв 1990: 130).

С идеей антисистемы связана мысль об опасности межэтнических контактов. Так, пути мировой торговли оказываются главными «воротами инфекции»: «Беда была в том, что Великий караванный путь, начинавшийся в Китае и шедший по бескрайним безлюдным степям, доходил до богатого, обильного всеми продуктами Лиона, затем до величественной Тулузы и заканчивался в мусульманской Испании, в Кордове. А с международной торговлей всегда связано разнообразие людей и идей, неспособных слиться друг с другом. Зато в теле такой химеры часто прорастают как паразиты жизнеотрицающие системы, примеры которых мы уже видели» (Гумилёв 1990: 130).

О карматах и исмаилитах: «Цель же их была одна — во что бы то ни стало разрушить ислам, как катары стремились разрушить христианство» (Гумилёв 1990: 134—135). Зачем? «Чтобы ничего не приняло облика». Сектанты стремились разрушить господствующую религию, чтобы заменить своей, — явно да, но разрушить весь христианский или исламский мир — сомнительно.

Вновь об исмаилитах: «Хасан нашёл способ сломать не социальную, а этническую систему. Он направил своих убийц на самых талантливых и энергичных эмиров, места которых, естественно, занимали потом менее способные...» (Гумилёв 1990: 137). — Сознательно ли он ставил перед собой такую цель?

«Как легко было заметить, три большие суперэтнические системы сопровождались антисистемами, вернее, одной антисистемой, подобно тому, как тени разных людей различаются друг от друга не по внутреннему содержанию, которого у теней вообще нет, а лишь по контурам» (Гумилёв 1990: 137).

«Мироощущение альбигойцев, манихеев, павликиан <...> и прочих — это система негативной экологии. Не любя мир, манихеи не собирались его хранить, наоборот, они стремились к уничтожению всего живого, всего прекрасного. Вместо любовной привязанности к миру и к людям они культивировали отвращение и ненависть» (Гумилёв 1990: 139). Однако достичь своей цели они не могли: если они и побеждали, то были вынуждены отказаться от разрушения и превратиться в подобие того самого мира, который пытались разрушить.

Правда, предложив чёткие определения антисистем и химер, Л. Н. Гумилёв пользуется ими отнюдь не чётко. Впечатление таково, что его схема чересчур стройна для описания реальных фактов, и сам автор это чувствует. Так, в одном месте Парфия определена как химера (Гумилёв 1990: 127), в другом (: 215) описывается история Парфии как смена нормальных фаз этногенеза. Да и вообще, если эта держава была химерой — то есть противоестественным этническим образованием, — как же она прожила пятьсот лет, устояв против тяжелейших внутренних и внешнеполитических кризисов?

Ещё менее понятно отношение Л. Н. Гумилёва к буддизму. Напомним буддийское кредо — «четыре благородные истины»: 1) жизнь есть страдание; 2) источник страданий — желания; 3) избавиться от страданий можно, лишь победив желания (то есть волю к жизни); 4) этот выход достигается на «восьмеричном пути». Прощедший этот путь достигает нирваны (индуистской мокши) — то есть может поки-

нуть круг перерождений, составляющий жизнь, и больше в него не возвращаться, если только он (как тибетские «живые будды») не сделает этого добровольно, из сострадания к тем, кто ещё скован жизнью. Это — практически буквальное определение антисистемы, приводившееся чуть ранее (Гумилёв 1992: 171). Поэтому, кстати, все христианские церкви относятся к буддизму очень неприязненно: ведь для христианства (как и для иудаизма, кстати) мир, сотворённый идеальным Творцом, хорош, а зло в нём хотя и есть, но в принципе может быть устранено.

Л. Н. Гумилёв тоже не испытывает к буддизму симпатий, но к антисистемам его почему-то нигде не относит. К тому же в рассуждениях на эту тему у него немало фактических ошибок:

«Деспотическим режимам был выгоден симбиоз с буддизмом. Правители обирали своих крестьян и податное население, чтобы поддерживать пышность двора и могущество наёмного войска, поскольку буддисты проповедовали, что мир — иллюзия, и поскольку у тебя отнимают иллюзорные деньги, иллюзорный хлеб или заставляют тебя работать на постройке иллюзорной дороги, то тебе это всё только кажется. Ты подчиняйся, так будет спокойнее. Разумеется, индусы подчинялись: раз пассионарности нет, будешь подчиняться» (Гумилёв 1990: 64).

Во-первых, не индусы (приверженцы индуизма), а индийцы (население Индии как страны). Во-вторых, что за деспотические режимы: Сиам, средневековая Камбоджа, города Синьцзяна, наконец, феодально-раздробленная Япония с конца эпохи Хэйан? Даже та, достаточно непоследовательная, централизация, что провёл режим Токугава (где сёгун был лишь самым могущественным из примерно 200 князей), опиралась всё-таки не на буддийскую, а на конфуцианскую идеологию. В-третьих, а как же быть с тем, что буддизм равнодушен к государству и не обосновывает особых прав на престол определённой династии? Конечно, описывается антисистема, но в других случаях автор не причислял к ним буддизм.

«Как я уже говорил, буддийские общины всегда ютились у подножья деспотических престолов, потому что деспот, не имеющий опоры в народе, нуждается в космополитичных интеллигентных советниках и сотрудниках, не связанных с народом и обязанных лично ему. Буддийская община по принципам своим всегда экстерриториальна; человек, вошедший в общину, рвёт все прежние этнические, племенные, родовые связи. Поэтому деспоту очень удобно использовать энергичных буддистов в качестве своих советников или чиновников» (Гумилёв 1990: 69).

Но то же относится и к христианству (по крайней мере, католическому) и особенно исламу. Почему же буддизм не вытеснил их даже в деспотических государствах? С другой стороны, если у протестантов церковь национальная (в лютеранстве), то существует и национал-буддизм — например, секта Нитирэн. Во всяком случае, в Японии буддизм не означал космополитизм. К тому же классический буддизм и чань-буддизм вообще отличаются, как небо и земля.

Вообще, буддизм у Л. Н. Гумилёва описан неудовлетворительно. Так, выход из сансары через угашение желаний (Гумилёв 1990: 116) — не изобретение Будды, он есть и в индуистской «*Бхагавад-гите*». Легенда о том, что Будда умер под впечатлением от разгрома царства Шакья и гибели его родни (Гумилёв 1990: 117), в канонических жизнеописаниях Будды не встречается. В описании духовных миров вплоть до *тэмму* (Гумилёв 1990: 119), судя по этому последнему слову, смешан ин-

дийский и японский буддизм, а они требуют осторожного сопоставления: у японцев была собственная богатая демонология, отличная от индийской.

Довольно об этом. При всех различиях у Розенберга с его «противорасой» и Гумилёва с его «антисистемой» совпадает не только логика рассуждений, но даже лексикон. Именно эта часть гумилёвской концепции более всего напоминает прямое заимствование у нацистского предтечи. Впрочем, как уже говорилось, это впечатление, по-видимому, обманчиво. Гораздо вероятнее, что слово «антисистема» взято Л. Н. Гумилёвым из лексикона контркультуры 1960—1970-х годов. Там под «системой» понимался комплекс «политизированной культуры и культурно обусловленной политики», которым невозможно было противостоять порознь, так что контркультурное действие становилось частью тотальной революционной активности. В наши дни этот эпатажный лозунг «антисистемы» как оппозиции господствующей системе взяла на вооружение Новая Правая: «“Антисистемность” и “альтернативность” — диссидентская поза — в свете “национал-революционной” идеологии является, однако, выражением протеста не против корсета институций и традиций, сдавливающего индивидуальность, а против мультикультурности, терпимости и демократии как комплекса гуманистических ценностей» (Pankowski 2006: 94—95, там же ссылки). Как видим, Л. Н. Гумилёв, вслед за бунтарями 1968 г., понимает антисистему как андеграунд, противостоящий господствующей культуре, но, в отличие как от этих бунтарей, так и от современных идеологов правой «реконкисты» (там же), не испытывает к ней никаких симпатий.

Есть, правда, одно различие: у Розенберга «противораса» — только евреи, а у Гумилёва? Нет, здесь вопрос сложнее, а сам иудаизм антисистемой не считается. Но оба автора допускают союз иудаизма с любыми «паразитическими зародышами» (Rosenberg 1934: 462 — см. выше). Поэтому и у Гумилёва мы видим, например, такое:

«С их [карматов] идеями Эригена мог ознакомиться при посредстве испанских и провансальских евреев, которые, сами не разделяя карматских идей, были рады передать их христианам в своей интерпретации <...>. Значит, эригенизм — метастаз исмаилизма» (Гумилёв 1992: 176).

При этом, однако, различие между иудаизмом и антисистемой настолько тонко, что порой исчезает вообще. Так, мы уже цитировали колонтитул одной из последних страниц книги Розенберга: «ложь как еврейская жизненная форма» (1934: 687). У Гумилёва (1997: 551) 38-я глава «*Этногенеза*» начинается почти таким же заголовком — «Ложь как принцип», под которым, однако, речь идёт о Л. Н. Толстом и катарах.

Ни Шпенглер, ни Тойнби и не пытались искать ничего подобного антисистеме. У Шпенглера нет даже аналогий такому понятию. Тойнби же не просто не проходит мимо этого вопроса, но и специально спорит с попытками искать метафизических врагов:

«Другими словами, можем ли мы сказать, что цивилизации приняли смерть не от внешних неконтролируемых сил, а от собственных рук? Поэту интуиция подсказывает именно такое решение.

В трагедии жизни, то ведаёт Бог,
Лишь страсти готовят её эпилог;

Напрасно злодеев вокруг не смотри.
Мы преданы ложью, живущей внутри.

(*Меридит. Современная любовь*)» (Тойнби 1991: 300).

«Но в чём же смысл принципа, играющего столь заметную роль и в Новом завете, и в аттической драме? Не умея предвидеть страдания грядущих поколений, недалекие умы склонялись к ответу весьма банальному. Они искали объяснения падений выдающихся людей в злокозненности внешних сил, человеческих по этосу, но сверхъестественных по силе своей. Они полагали, что ниспровергателями великих являются боги, а мотив деяний их — зависть» (Тойнби 1991: 307).

Так или иначе, для этого автора идея метафизического врага заслуживает лишь упоминания, но даже не спора. И это несмотря на то, что сам А. Дж. Тойнби верил и в Бога, и в дьявола, вносящего хаос в Творение!

У Г. Вирта, при всём его мистическом настрое, есть расы, но нет противорас. Однако у А. Г. Дугина её роль играет Америка — «тревожная и зловеющая страна по ту сторону океана», вплоть до вывода: «Закрывать Америку наш религиозный долг» (Конспирология, ч. 4.1,8). Автор, несомненно, помнит щедринского «ретивого начальника», пытавшегося наложить резолюцию: «“Необходимо Америку снова закрыть” — но, кажется, сие от меня не зависит?»

Иное дело кн. Трубецкой. Роль врага рода человеческого играют у него заносчивые «романо-германцы». Эти повинны во всех смертных грехах и бедах человечества, и реплики Трубецкого в их адрес порой выходят за грань корректности (это при его-то всегдашней сдержанности).

«Итак, характер социально-политического строя романогерманских государств не играет никакой роли в вопросе о неизбежности европеизации и её отрицательных последствий. Неизбежность эта остаётся, независимо от того, будет ли строй романогерманских государств капиталистическим или социалистическим. Она зависит не от милитаризма и капитализма, а от ненасытной алчности, заложенной в самой природе международных хищников — романогерманцев, и от эгоцентризма, проникающего всю их пресловутую “цивилизацию”» (Трубецкой 2007 {1920}: 142—143).

«Не надо отвлекаться в сторону частным национализмом или такими частными решениями, как панславизм и всякие другие “панизмы”. Эти частности только затемняют суть дела. Надо всегда и твёрдо помнить, что противопоставление славян германцам или туранцев арийцам не дают истинного решения проблемы и что истинное противопоставление есть только одно: романогерманцы — и все другие народы мира, *Европа и Человечество*» (Трубецкой 2007 {1920}: 148).

И, рассуждая об отношении Европы к Советской власти, князь вдруг говорит:

«Затаённой мечтой всякого [sic!] европейца является полное обезличение всех народов земного шара, разрушение всех своеобразных и обособленных национальных обликов и культур, кроме одной, европейской, которая сама, в сущности, тоже является национальной (ибо создали ее народы одной кельтско-германской расы, имевшие общую историю и представлявшие в течение всей истории такое же замкнутое единство, как отдельные части Китая), но желает прослыть общечеловеческой» (Трубецкой 2007 {1926}: 354; выделено мной — Л. М.).

Разрушение всякого своеобразия? «Чтобы ничего не приняло облика» (Rosenberg 1934: 460—461)! «Отрицательная система» (Гумилёв 1990: 122)? Не случайно Л. Н. Гумилёв (1991 а: 24), сочувственно цитируя эту фразу, считает, что ею «объяс-

нимо и объяснено с исчерпывающей полнотой» неприятие евразийства «в отношении учёных аборигенов Западной Европы». Впрочем, кн. Трубецкой не заходит так далеко, как А. Розенберг и Л. Н. Гумилёв. Для него европейская цивилизация — всё же цивилизация, а не дух «метафизического нигилизма», и культура у неё — хоть плохая, но всё же есть. Тем не менее враг человечества описан в знакомых до боли выражениях.

Но эти убеждения кн. Трубецкого — не столько теоретические, сколько эмоциональные. Чтобы понять их источник, нужно вспомнить трагедию русской белой эмиграции.

«Почему Европа враждебна России?» Н. Я. Данилевский задаёт этот вопрос в отношении эпохи 1850—1860-х годов, и вопрос этот служит отправной точкой всех его дальнейших рассуждений. Однако была ли Европа враждебна России всегда (то есть и в годы Священного Союза, когда Россия его чуть ли не возглавляла, и в Первой мировой, когда англо-французы постоянно обращались к России за помощью) — или только во время Крымской войны? И если так, то почему? Считаем.

1830—1831 годы. Николай I не признаёт революций во Франции и Бельгии, против последней якобы даже собирается двинуть польскую армию во главе с великим князем Константином Павловичем. Один лишь слух об этом вызывает Ноябрьское восстание в Польше, подавленное с жестокостью, для Европы уже неприемлемой.

1832 г. Египет восстаёт против Османской империи, явно исчерпавшей себя. Войска египетского паши Мухаммеда Али движутся к Босфору. Турция обращается за помощью ко всем великим державам, но лишь Николай I решается помочь — ради защиты принципа монархизма (хотя турки только что, в 1828—1829 гг., были его врагами). Русская армия вводится в район Босфора, и египтяне отступают.

1848—1849 гг. Революция в Европе. В Молдове она длится две недели — до ввода русских войск. В Валахии — полгода, до ввода османских и русских войск. В Шлезвиг-Гольштейне — два месяца: Николай пригрозил интервенцией, и сторонам пришлось пойти на мировую. В Венгрии — полтора года: Австрия не сумела её подавить, и юному Францу-Иосифу пришлось ехать в Варшаву на поклон к Николаю I, чтобы тот помог справиться с его мятежными подданными. Николай никому не отказывал в просьбах такого рода, и Венгрия испытала все ужасы подавления Польши. Италия? Её умирал австрийский фельдмаршал Й. Радецкий, но после Венгрии было ясно: у Австрии не было бы на это сил, не надейся она на помощь Николая. Во Франции Николай отказался признать Наполеона III — «императора баррикад». В Германии революционеры были так робки не в последнюю очередь из страха, как бы князья не обратились за подмогой к своему петербургскому родственнику (половина германских князей была в родстве с Романовыми). Наконец, в Австрии немецкие и славянские либералы, свергнув ярмо Меттерниха, сцепились между собой по вопросу о языке: признание равноправия чешского и немецкого языков в Богемии означало, что любой чиновник должен будет знать оба языка, а на это до сих пор были способны только чехи, поскольку немцам хватало одного немецкого. Начались стычки между славянскими и немецкими *революционерами*, причём славяне рассчитывали на помощь России. В результате монархии Габс-

бургов удалось всех поссорить и всех победить — не без помощи фельдмаршала И. Ф. Паскевича, правда.

Чего же добился всем этим «император-рыцарь» Николай I? Вся либеральная общественность Европы убедилась, что русский царизм — главное препятствие на пути к *европейской* свободе. Австрия была унижена (выяснилось, что без помощи извне она неспособна даже спасти единство монархии) и этого унижения не забыла и не простила. Через два года бывший канцлер-русифил Ф. Шварценберг с горечью писал, что «Австрия ещё удивит мир своей чёрной неблагодарностью», — предвидя политику нового правительства доктора Александра Баха. А правительства Англии и Франции не отказались от спора с Россией из-за раздела османских владений.

Итог понятен. Защищая принцип легитимизма, уже не находивший серьёзных сторонников в Европе, Николай завёл Россию в политический тупик: напугал либералов, оскорбил монархов и не помирился с колониальными державами. Он всех задел, всех напугал и никому, кроме абстрактного принципа, не помог. В самой же России не было силы, способной реально противостоять отставшему от века царю. Его мощь могла быть сломлена только извне. И нужно было быть поистине глухим, нужно было не различать слов «Россия» и «Николай», чтобы думать, будто оправданная ненависть европейцев — и либералов, и консерваторов — к режиму «Николая Палкина» есть в то же время ненависть к России и русскому духу. Для этого надо было спутать всю страну с одним-единственным человеком, к тому же, по его собственному признанию, дурно воспитанным (Николай 2007: 25).

Но тогда возможен встречный вопрос: почему «Россия» (та, которую представляли себе евразийцы) враждебна Европе? И ведь это писали люди, жившие в *европейских* столицах и работавшие в *европейских* университетах. На этот вопрос ответил Л. Люкс (1993: 108—109): евразийцы выражали настроения той части эмиграции, которая считала, что Европа недостаточно помогла белому движению.

Их можно понять. Князья и графы, блестящие адвокаты и королевы балов теперь стали водителями такси и машинистками. Люди, у которых, по словам Б. Пастернака, «умерла Родина», как и все эмигранты, оказались на самом дне стран своего рассеяния. Эти страны сделали для них не больше, чем могли для собственных граждан.

Чувство унижения, постыдная нужда, воспоминания об утраченном рае — всё это вызывало тот эмигрантский комплекс, о котором писали многие, от А. Аверченко до С. Довлатова. И комплекс этот, как напоминал кн. Трубецкой (2007 {1935}), очень схож с тем, в котором вечно упрекали евреев: живут среди других (и за их счёт), но думают только о себе, вечно берегут старые раны, презируют тех, кто их приютил (по причинам, которых сами не могут внятно объяснить), и создают им проблемы. Вспомним героиню рассказа Тэффи «*Дура*», бешено кричащую: «Топчите, топчите Россию!» — в ответ на самое робкое замечание, что и во Франции есть хоть что-то хорошее. Вспомним русского эмигранта, застрелившего в 1932 г. президента Франции П. Думера. Вспомним другого эмигранта — Александра Ставицкого, финансовые аферы которого спустя два года привели к кровавому ультраправому путчу в той же Франции. Наконец, вспомним А. Розенберга — тоже русского эмигранта!

Но давайте подумаем: точно ли Европа предала белое движение? Ведь речь идёт о 1918—1920 гг. Что могли тогда сделать европейцы? Их континент лежал в развалинах. Берлин, по словам Б. Келлермана (роман «*Девятое ноября*»), выстоял три зимы, чтобы на четвёртую стать жертвой темноты, холода и гриппа, свирепствовавшего не хуже чумы. Вряд ли лучше было тогда в Париже, который только что бомбили цепелины, а затем обстреливала «Большая Берта». Австро-Венгрия к лету была затоплена бандами дезертиров. Вся часть Франции к северу от Парижа была изрыта окопами. В 1919 г. революциями было охвачено всё пространство от Северной Италии до Китая и от Финляндии до Турции.

Даже возможности денежной помощи почти иссякли. К началу войны все крупные европейские страны были кредиторами США — четыре года спустя стали их должниками. Золотое обращение, на котором держались все европейские валюты, было временно (до победы) отменено в 1914 г. — и не восстановлено уже никогда. Карточная система и мешочничество — с этим пришлось познакомиться даже Англии и нейтральной Швейцарии. Даже после победы франк обесценивался чаще, чем ежегодно, — вплоть до финансовой реформы де Голля почти полвека спустя. Не последнюю роль в этой финансовой катастрофе, оставившей без сбережений на старость миллионы французских рантье, сыграла потеря французскими банками своих русских вкладов. Румыния в 1916 г., перед угрозой немецкого наступления, вывезла свой золотой запас в Россию. В 1918 г., после начала румынской оккупации Бессарабии, этот запас был арестован Советским правительством, и с тех пор его следы затерялись.

«В 1934 г., пользуясь неустойчивой политической обстановкой в стране, авантюрист-белоэмигрант Борис Скосырев с сообщниками захватил власть в Андорре, провозгласил её монархией, а себя королём. В 1941 г. монарх-самозванец был свергнут и отправлен в немецкий концлагерь в оккупированную Францию» (Галкина 1983: 147).

Болгария, где были изданы первые сочинения евразийцев, за шесть лет вела три войны, причём две из них (вторую Балканскую и Первую мировую) проиграла. В 1918 г. она капитулировала первой из стран германского блока: солдаты восстали на фронте. Царю Фердинанду пришлось бежать, к власти пришёл Болгарский земледельческий народный союз, близкий по идеям к русским эсерам. В разорённой стране лидер БЗНС Александр Стамболийский пытался провести хоть какие-то реформы в интересах крестьян. В таком-то состоянии Болгария предоставила убежище офицерам армии Врангеля, вместе с которыми попали в Софию и евразийцы. Что ещё могла сделать для них эта страна? И врангелевцы отблагодарили её, как умели: в июне 1923 г. они стали одной из главных сил монархо-фашистского переворота. Премьер Стамболийский был убит, страну захлестнул террор, не прекращавшийся до 1944 г., эмигранты же вскоре перебрались в Париж и Берлин.

12 января 1919 г. в Версале собралось совещание по вопросу о подготовке мирной конференции. Началось оно с того, что победители чуть не перессорились из-за вопроса о том, на каком языке будут проходить заседания. Кончился же этот день следующим: маршал Фош зачитал телеграмму от польского премьер-министра И. Падеревского. Большевики только что взяли Вильно, и Польша просила о помощи. После краткого обсуждения выяснилось, что в Европе *больше нет ни одной боеспособной армии*, кроме американской. После четырёх лет окопов и газовых атак

ни один солдат не захотел бы воевать снова. А американцы не стали вмешиваться в чужой конфликт. И совещание отвергло предложение маршала, а вместо этого постановило: военных на заседания больше не допускать, чтобы не приносили таких новостей и не вносили подобных предложений (Минц 1945: 25—26).

Правда ли после этого, что Европа могла помочь белым больше, чем помогла? А когда к 1924 г. она оправилась от последствий войны (с помощью американских займов), когда наступил краткий период «просперити», — для белых было уже поздно. И можно ли смешивать шок, испытанный эмигрантами первой волны (как бы он ни был психологически понятен), с вечными интересами России и Европы?

III.20. Самодовлеющий активизм *resp.* эстетизм

*Быть может, всё в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.*

В. Я. Брюсов. Поэту

Наконец, отметим вкратце и такую черту: для романтически настроенных авторов прошлое (а значит — и настоящее, готовящееся стать прошлым) — прежде всего арена ярких событий, «зрелище богов» (А. Камю). Вот Розенберг пророчит «революцию рас»:

«Существо сегодняшней всемирной революции лежит в пробуждении расовых типов. Не только в Европе, а на всём земном шаре. Это пробуждение — это органическое встречное движение против последних хаотичных побегов либерально-экономического империализма торговцев, объекты эксплуатации которых от отчаяния шли в тенёта большевистского марксизма, чтобы заканчивать то, что начала демократия: искоренение расового и народного сознания» (Rosenberg 1934: 479—480).

Что-то вроде: «националисты всех наций, соединяйтесь». Как такой союз («органическое встречное движение») был бы возможен, остаётся непонятным. Впрочем, возможно, речь идёт не о союзе, а о наступлении эпохи новых мировых войн. Ведь Индия и Китай даже теоретически не включались им в планы арийского господства в Европе. Розенберга, с его-то характером, такое будущее не должно было пугать, как и многих, кто в мирных условиях может сделать лишь скромную и скучную карьеру, а для «великих дел» нуждается в развале и хаосе, при которых может действовать бесконтрольно. В любом случае, картина войн с нашествием какого-нибудь нового Аттилы воспринималась такими людьми с чисто эстетической точки зрения. Правда, на детском уровне: «вот сейчас оно ка-ак шархнет!»... Хватит, впрочем, уже и того, что эстетике у него посвящена треть книги.

Заметим, однако, что уже здесь практически исключается нордизм в духе Гобино и Косинны, считавший арийцев единственными создателями всего, что есть в мире ценного, и единственными носителями мощи. Получается, что у них возможны соперники, притом небезуспешные. Розенберг упоминает их — нередко, хотя и голословно: индийцы, китайцы, африканцы, «исламский фанатизм».

Эти идеи явно от немецких романтиков, от Вагнера и Ницше с их пониманием «творчества» (Schöpfungertum) как самоцели. Напомним, что даже «сверхчеловек» у Ницше — это вовсе не «расово чистый» Übermensch и не безмозглый, зато